

Не тридцать тысяч экземпляров, как утверждает «Руль», а пятнадцать тысяч. Кроме нескольких десятков экземпляров, отосланных мною автору и переданных заведующему архивами РСФСР Рязанову Д. Б. для передачи в государственные библиотеки и архивы. Д. Б. Рязанов принадлежал к тем немногим, кто знал историю уничтожения книги Льва Шестова. И он тоже понимал, что я уничтожаю не книгу, а свое участие в появлении ее на свет.

Еще несколько слов о «Руле». Руководители «Руля» осведомлены о вышеизложенном, сколько я знаю, из двух источников. С одной стороны — покойным Л. А. Севом, доверенным лицом Л. Шестова, а с другой — Ф. А. Брауном⁵. Наши беседы с Л. А. Севом протекали в очень резких тонах, и тем не менее Сев знал и понимал подлинную психологическую подоплеку всей этой печальной истории. Еще ближе к первоисточнику — понимание Ф. А. Брауна. «Руль» знал, что мои отношения с Л. Шестовым оставались прежними, т. е. что и Л. Шестов понял мотивы моих действий. И зная все это об уничтожении книги, обладая экземпляром, на котором имеется надпись «Право собственности закреплено за автором», — зная все это, «Руль» все-таки поднял эту историю, которая, попав в грязные руки, причинит Л. Шестову огорчений не меньше, чем мне. Если у И. В. Гессена⁶ хватило хамства инсценировать провокационные заметки, чтобы затем использовать опровержение издательства, — я это еще понимаю. Но его коллеги по редакции? Г. Набоков, И. О. Левин?⁷ Что думают они об этом? — впрочем, мне все равно, что они думают. Пребывание на противоположном берегу, видимо, освобождает от долга честно выбирать как оружие, так и поводы для борьбы.

Г. И. ЧУЛКОВ

Сны в подполье

Алексей Ремизов не пишет статей, не рассуждает и не философствует, — и это так характерно для его неоткровенного таланта. Тем примечательнее единственная его заметка, напечатанная в 1905 году, в журнале «Вопросы жизни», по поводу книги Льва Шестова «Апофеоз беспочвенности»¹. «Опыт адогматического мышления, — пишет Ремизов, — является гармонией афоризмов, возмутительных и циничных для ума, которого кашей не корми, а подай ему “систему”, “возвышенную идею” и т. п. “De la musique avant toute chose...” Этим знаменитым стихом заканчивается книга, которую можно было бы назвать прелюдией подпольной симфонии. Ведь в подполье, во мраке

и сырости, вдруг загорается чудо и вереницами бродят привидения, и снятся безумные сны, и ломаются, как пруттики, все категории... И еще есть в подполье странные окна через землю в иной мир. Найдешь — вырвешь разгадку тем тайнам, от которых на стену лезут, не знают, не догадываются, пребывая на лоне природы и шаркая в черных кафтанах по гляnciaм паркета. Найдет ли Шестов окна? — а, может, закиснет в духоте и прели... а если найдет, скажет ли? — все равно — путь его верный. Не искусившись, не умудришься...»

В сущности, этот полувопрос, обращенный к Льву Шестову, с таким же основанием можно задать и самому Ремизову: найдет ли он окна? Не закиснет ли в духоте и прели? А если найдет, скажет ли? Пока ремизовский Маракулин нашел иное окно — окно Буркова дома, откуда путь один: вниз головою на мостовую...²

Неслучайно неоткровенный Ремизов написал свои откровенные строки о книге Шестова. В нем увидел художник своего двойника, отразившегося в зеркальной плоскости философии: все то, что мы видим в творчестве Ремизова, теоретически утверждается в книгах Льва Шестова:

«Не искусившись, не умудришься...»

«Путь верный один — подполье...»

«В подполье снятся безумные сны...»

«De la musique avant toute chose...»

Ведь это все ремизовские темы. Не он ли увел своих героев в самые глухие углы подполья? Не ему ли снятся безумные сны? Не искушает ли его непрестанно незнакомец, с тонкими птичьими губами, ничему не удивляющийся, — кто? Демон ли? Один ли из бесов? Или просто бесенок? И не утешает ли себя и нас Ремизов музыкою своей изысканной речи?

Все «ценности» этого мира неценны — вот тайная мысль Алексея Ремизова. И если бы *мысли* определяли художника и его значение, мы должны были бы назвать Ремизова нигилистом. По счастью, то, чего не измеришь аршином логики, свидетельствует, что Ремизов все-таки не Маракулин. И как бы он не перевешивался, разглядывая из своего высокого окна грязный Буркова двор, головы себе он не разобьет о камни: что-то, значит, связывает его с этим миром «печали и слез». Но что? Музыка? «О люди, вы прильнули устами к пескам пустынь повседневных, ищите звонких ключей в камне истлевшем, вы затаились, молчите в заботах. У меня есть песни...»³

— У меня есть песни! — повторяет Ремизов.

В песне есть странное очарование. В ней сходятся все концы и начала. В красоте и в музыке разрешаются все противоречия. Влюбись в песню — и уже все мнения покажутся неценными и ненужными. Маракулин признавался, что «самые противоположные мнения его нисколько не пугали и он со всеми готов был согласиться, считая всякого по-своему правым...».

И Ремизов, подобно своему герою, принимает все мнения — не потому, что он ко всему равнодушен, а потому, что душа его ноет и жаждет песен, и все мнения обесцениваются: музыка всегда по ту сторону мнений.

Иное дело — поступки: поступки всегда могут быть созвучны песне или, напротив, могут нарушить ее цельность. Делать что-то надо. «Одному надо *предать*, чтобы через предательство свою душу свою раскрыть и уж быть на свете самим собою, другому надо *убить*, чтобы через убийство свою душу свою раскрыть и уж, по крайней мере, умереть самим собою...» Маракулину пришлось «талон написать как-то да не тому лицу, кому следовало», — и только тогда стал он видеть, слышать и чувствовать по-настоящему и умер как надо, *самим собою*.

Что же увидел, услышал и почувствовал Маракулин?

«Свобода, покойники, случаи, происшествия, скандалы, драки, мордобой, *караул* и участок, и не то человек кричит, не то кошка мяучит, не то душат кого-то, — так всякий день».

Девчонку Верочку заманили обманом в номера, будто бы нанять хотели нянькой. Ночью барин пришел. Кричать хотела, рот руками зажал. А утром буфетчик к себе взял. За буфетчиком околоточный надзиратель. Человек по пяти за ночь к ней приводили. И никуда из комнаты не выпускали...

А другая Верочка, маленькая актриса, от одного покровителя переходит к другому и, уже утомленная постылыми ночами с чужими и постылыми, лепечет, как сумасшедшая: «Не в прачки же мне идти».

Это все крестовые сестры Маракулина, потому что и мать его тоже, как эта многоликая Верочка, когда-то, не любя, отдавала свое тело какому-то Цыганову, бог знает почему. Она была влюблена в другого, в студента, но в тот час случился Цыганов. Она вместе с ним на столе прокламации разбирала. И вдруг он бросился на нее и повалил на пол, точно «ослеп». А за ним другой — брат ее, юнкер. А потом еще один. И она никого не винила, потому что *в ней самой что-то было*, и от этого все вокруг нее глохли и слепли и сами не знали, что творили. Так три года она жила, пока не заболела. Без памяти убежала в лес и там молилась, а оттуда, в Великую пятницу, прибежала в церковь на вынос плащаницы совсем нагая и только с бритвою в руке. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». «...подняла бритву и стала себя резать, полагая кресты на лбу, на плечах, на руках, на груди. И кровь ее лилась на плащаницу».

Вот что приснилось Алексею Ремизову, когда он нашел самого себя. Вот что снится Маракулину, в тесной комнате Буркова дома, откуда солнца не видно. Темные сны сочетались с темною жизнью. Где начало? Где конец? Почему в самом деле девушка, упавшая на пол с животным криком, когда на нее бросился какой-то «ослепший» Цыганов, — *жизнь*, а «курносая, зубатая, голая», пробормотавшая что-то о субботе и позвавшая Маракулина к себе в срок, как и «весь

Петербург», — сон? Все смешалось — и сон, и жизнь: перед последней *субботой* всё равно и все равны.

Алексей Ремизов — художник национальный прежде всего: его томления, муки и его исступление — это все наше, русское, весь наш всероссийский размах — от Москвы до Петербурга, от старины витиеватой, пышной и окровавленной до нашей сумасшедшей петербургской современности. Он по-своему подошел к нашей русской теме, но он крепко связан с великою литературою русскою. Связь эта неразрывна, потому что она кровная. Тяжелым взглядом *исподлобья* посмотрел Ремизов на тесноту Буркова дома и увидел в ней новое и по-новому страшное. И подошел он к этой русской нечистой тесноте, горбясь, сутулясь и как бы приныкая к земле; он не только посмотрел пристально на всех этих «верочек», «генеральшу», «Акумовну», «дворников» и «маракулиных»: он как будто коснулся их своими руками, ощупал их язвы и раны и не побрезговал ими, и там остался, в доме, откуда солнца не видно, поджидая ночь с субботы на воскресенье.

С. П. ПОСТНИКОВ

История одного преступления.

Советское аутодафе

Евг. Г. Лундберг сжег 15 тысяч экземпляров книги своего друга и учителя Л. Шестова.

Что же тут удивительного?

Книга против большевизма, а Лундберг честно служит большевистской власти с самого октября. Он вместе с Р. В. Ивановым-Разумником, А. Блоком и А. Белым приял большевистский переворот с первых его дней. Правда, Блок и Белый, ожидавшие от большевистской революции религиозного порыва и создания «нового мира», очень скоро в ней разочаровались и ничего общего с большевизмом не имели и не имеют. Иванов-Разумник вместо Голгофы, которую он хотел разделить с большевиками, увидавший торжество Чека, также быстро ушел от коммунистов и теперь духовно совершенно независим.

Не то с Лундбергом.

Он служил большевикам все время верой и правдой, служит и теперь. Чего же другого можно ждать от него, как не уничтожения противобольшевистской книги.

Задайте себе только вопрос: на какие средства благородный рыцарь изволит издавать книги? И дальше: из чьего кармана покрываются убытки по уничтожению книги?